



НЕЛИЦЕПРИЯТИЕ

Автобиографический очерк. Окончание

Евгений СПАСКИЙ



**Вторая часть.
ЮНОСТЬ. ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ**

Итак, перейду к описанию событий своей жизни в годы юности.

Ранней весной 1914 года Тифлис был взволнован появлением первых футуристов. В городе висели оригинальные пестрые афиши, возмущающие о выступлении поэтов-футуристов. Это были Владимир Маяковский, Давид Бурлюк и Василий Каменский.

Часто в двенадцать часов, для рекламы, футуристы, разодвинув в свои пестрые и яркие по краскам костюмы, торжественно совершали прогулку по главной улице города. Давид Бурлюк в тканом сюртуке малинового цвета с перламутровыми большими пуговицами и маленьким дамским лористом в правой руке. Владимир Маяковский в желтой кофте и красной феске на голове. На плечи накинут вуалевый розовый плащ, усеянный маленькими золотыми звездочками. И, наконец, Василий Каменский поверх штатского костюма надел черный бархатный плащ с серебряными позументами. Это была моя первая встреча с футуристами, причем сблизился я с Бурлюком. Он был мне ближе других как художник и как человек. В дальнейшем я с ним подружился, и многое пережил вместе. В 1917 году я принимал участие в выставке картин вместе с Д. Бурлюком, и в 1917 же году он меня познакомил с художником Лебланом, у которого была своя студия на Тверской улице. Леблан был по характеру своему милейший и добрейший человек, свободомыслящий по взглядам. Никого никогда из своих учеников не притеснял, не заставлял следовать обязательно его манере письма. Это-то и привлекало к нему в студию всех, кто бежал из Академии и из школы живописи, ваяния и зодчества, где царил старая рутина. Я тоже с удовольствием посещал студию Леблана, где каждый доказывал свою правоту и истинность своих взглядов на дальнейшие пути искусства. Тут были и реалисты, и футуристы, и кубисты, и супрематисты. И все сходились одной семьей под крылышком Леблана. А он говорил, и правильно говорил: «Трактуйте природу, как хотите, лишь бы было грамотно». Позже я с ним встречался много раз в Союзе работников искусства, членом которого состояли он и я. Обычно, описывая свою жизнь, больше погружаются во внешние события. Конечно, обойти совсем внешнюю сторону жизни нельзя, она должна присутствовать, как вехи, указывающие путь и направляющие душу от события к событию, от одного душевного переживания к другому. Но основным должно быть становление и рост души и духа.

Итак, 17 год — зима и весна в Москве. Голод. Одна восьмушка жмыха или, в лучшем случае, одна восьмушка ржаного хлеба с соломой на день.

В столовых мутная вода из картофельной шелухи и селедочных головок — это суп по специальному талону. Несмотря на это жизнь продолжала кипеть и бурлить. Искание новых форм, новых откровений в искусстве как протест против передвижников и реалистов. В театре появляются Таиров и Мейерхольд, в живописи Лентулов, Татлин и Д. Бурлюк, в поэзии Хлебников и Маяковский, и как всегда тут же примазываются сотня бездарных творцов, как бухгалтер Ал. Крученных, Гольдшмидт и т. д. Я не буду останавливаться на подробном описании всех этих многочисленных встреч и знакомств с художниками, поэтами и актерами. Тем более что многих из них уже описывали в своих воспоминаниях и Чуковский, и Андрей Белый, и Д. Бурлюк. И всегда не договаривали до конца, не вскрывали подлинное лицо данного человека, особенно если человек обрел в мире сем славу. Существует такое мнение: «О покойниках плохо не говорят», а если он действительно был плохим человеком, значит, нужно лгать? И люди умалчивают или лгут, боясь правды. А только правда облагораживает человека и помогает ему исправиться и найти верный путь и в жизни, и после смерти. Как бывает больно и в то же самое время как бывает важно и дорого услышать правду. Мы все становились лучше, если бы слушали всегда и везде правду, сказанную о нас, а всякая ложь только затуманивает сознание, порождая себялюбие и эгоизм, гордость и душевную узость. Пница Люцифера.

Тут встает во весь рост образ Владимира Маяковского. Какая самоуверенность, какая гордость, какая замкнутость в себе и беспредельный эгоизм. Люди вокруг для него не существовали, он был центр всей вселенной. Холодом всяло от этого человека. Он презрительно жевал папироску во рту, и чувствовалось, что всех ненавидит. В течение целого ряда лет я много раз с ним встречался, но близости или душевного контакта не было. И не было у него настоящих, близких друзей.

Совсем другим человеком был Давид Бурлюк. Жизнерадостный, веселый, общительный, находчивый, остроумный и с добрым, мягким сердцем. Я с ним быстро подружился, и ранней весной он меня пригласил к себе в глухую татарскую деревню Будзак Бугурусланского уезда, где жила постоянно его семья — жена, Мария Никифоровна (его двоюродная сестра) — странная женщина с остановившимся потусторонним взглядом, не принимавшая никакого участия в любой

беседе, беспредельно влюбленная в своего мужа. Два сына — Додик и Никита пяти и четырех лет. Сестра жены — Елена Никифоровна — маленькая, худенькая женщина, впоследствии ставшая женой художника Павлинова, и сестра Давида Давидовича Марианна, высокая, крупная и обладающая страшной силой пения, окончившая Московскую консерваторию. Она-то и замешивала, засучив рукава по локоть, в большой кадке заварной хлеб на всю семью, на целую неделю. Хлеб у нее получался удивительно вкусный. Но во время этой адской работы нельзя было ей перечить и попадаться под руку. Она хватала жертву одной рукой, поднимала к потолку, трясла ее и говорила: «Ну, смотри, вот так об пол и стукну». Конечно, шутя. Детям была предоставлена громадная русская печь. Это две белые стены, на которых они могли углями рисовать. Творить свободно все что хотели. И стены покрывались домиками, лошадьми, деревьями и людьми. И каждую неделю стены белились заново. Прожил я у Бурлюка в татарской деревне лето 1917 года. А осенью мы поехали в большое турне по городам восточной России и Сибири, с выставками картин и поэзоконцертами.

Я любил человека, в котором видел вершину земного проявления. И все прекрасное и мудрое, лучшее, что создавал человек, привлекало и волновало: искусство, философия, точные науки, математика, геометрия и всякое духовное познание человека вызывали во мне

начал лечить людей гипнотизмом. Он на практике показал мне все стадии гипноза. И я сам пережил, сначала с его помощью, все расчленения человеческого существа. Он делился со мною своим опытом, и я многое получил от него. Основной упор он делал на укреплении внутренней силы воли и мысли, оставляя в стороне чувства и главное — любовь. И в его школе не было для меня полноты. Я подсознательно понимал, что любовь — это тоже сила и сила необычайная. И всякое учение без любви мне показалось неполноценным. Надо параллельно развивать и эту сторону жизни. Ее я находил в искусстве, в красоте, в лирике. Евангелия в это время у меня, к сожалению, не было, да и достать его было негде. Я стал оглядываться вокруг себя, во всем находить прекрасное и во все погружаться с любовью и таким образом укреплять любовь в своей душе.

Тут я удостоверился, что любовь действительно сила, гораздо более действительная и мощная, чем воля. И это я смог скоро доказать практически сам для себя. Вот какой в скором времени представился мне случай. Я жил в семье акцизного чиновника, у которого были жена и три дочки. Младшей было семь лет, средней — 16, и старшей — 18 лет. По складу своей души он был человек очень тяжелый, страшный эгоист и в семье деспот. Жена у него была мягкая, бесхарактерная, во всем покорная ему. Он любил младшую дочь, для которой делал все, старшая была ему безраз-

Я любил человека, в котором видел вершину земного проявления

большое благоговение и интерес. Рисуя человека, всегда поражешься математической точности соотношений частей человеческого тела, лица, рук. Познать захотелось и изучить это сложное и таинственное явление на земле — человека. А когда погружаешься во внутреннее существо человека, в душевно-духовное, то вонистину стоишь перед чудом и хочется сказать словами Ломоносова, перефразируя их: «Числа нет чувствам, мыслим дна».

Вот так, в это время я и подошел к йогам. Перечитал все книги, переведенные на русский язык, и погрузился в практическую работу. Через несколько месяцев ежедневной работы над собой я ощутил большие результаты в области дыхания и концентрации. А через полгода мне неслучайно встретиться с братом Сорokinи, сибирского писателя. Он был по профессии инженером, но много лет прожил в Индии, изучил досконально йогу, и, вернувшись в Омск,

лично, а среднюю он ненавидел за то, что она была девушка с характером. И жилось ей в своей семье очень тяжело и одиноко. Всю грязную работу мать заставляла делать ее. Она покорно все исполняла, но, в конце концов, не выдержала и надорвалась здоровьем.

Она заболела странной болезнью: по ночам начала ходить по квартире и наводить панический ужас на родителей. Сначала отец, физически очень сильный человек, старался удерживать ее силой, но она отбрасывала его в сторону, как перышко. В это время никто не мог с ней совладать. Она делала все что хотела в течение трех-четырёх часов, после чего ложилась и загибалась. Отец стал бояться ее до смерти, так как во сне она явно хотела ему отомстить за его ненависть. Родители обращались к врачам, но те разводили руками и ничем не могли помочь. Это не лунатизм, а какая-то непонятная форма психического заболевания. Отец стал убегать из дому. Решил



ПОЭТ ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ. 1914

запирать ее в отдельной комнате, связывать на ночь, но все это приводило к плохим результатам, так как она в этом состоянии обладала невероятной силой. Наконец, решили отправить ее в сумасшедший дом. Тут я запротестовал и предложил им дать мне недельный срок, не вмешиваться в мои дела — я вылечу эту девушку. Отец с насмешкой заявил, что все врачи отказались, а вы хотите вылечить, но к нему обратилась мать: «Путь попробует». И мне разрешили начать лечение. У меня был уже в руках известный опыт гипнотизера, а главная сила — это любовь, в которую я верил больше всего.

В первый же вечер я постарался пробудить ее и вытащить из этого глубокого

транса, в который она проваливалась, как сама она мне говорила. Самому же, с большой силой концентрации и силой любви, подойти внутренне к ее душе. Найти контакт и заставить ее слышать меня и верить мне. Верить в ту добрую силу любви, которую я хочу влить в ее существо. С большим усилием, но это мне удалось. Это был первый шаг и очень для меня важный. Я нашел окошечко, через которое я мог с ней общаться. Я не разбудил ее, она продолжала спать, но прекрасно слышала меня и внутренне реагировала на мои обращения.

Раньше не успевала она лечь, как проваливалась в бездну и минут через пять-десять вставала и начинала ходить и делать недоделанное днем, причем

ходила с закрытыми глазами в глубоком сне, но иногда не падала на столик по дороге предмета с удивительной легкостью и точностью все обходила и доставала все, что ей было нужно. Раз она подошла к книжному шкафу, достала нужную ей книгу, открыла недочитанную страницу и прочитала вслух полторы страницы до конца главы, причем я стоял рядом и следил за чтением, весь текст читался абсолютно точно. А как-то она подошла к своему письменному столу, достала толстый альбом с фотографиями, перелистала его, нашла фотографию отца, вынула ее и разорвала на мелкие клочки, говоря громко: «Ты меня ненавидишь, и я не хочу, чтобы ты был у меня в альбоме». Потом все так же аккуратно спрятала на место, пошла и легла на постель. Причем утром она ничего не знала и не помнила, но за ночь страшно уставала и вставала измученная и разбитая. Это и надо мне было приостановить и научить ее спать, отдыхать и набираться сил. С этого я и начал, чтобы она смогла меня слышать, я ее успокаивал и переводил с больного транса на здоровый, нормальный сон. Так медленно, но верно пошло дело на поправку, и недели через полторы она была абсолютно здорова. Позже она пошла сестрой милосердия на фронт и погибла от сыпного тифа. Отец ее, от которого она бежала на фронт, тоже скоро умер, но не на фронте, а у себя дома.

Так постепенно война докатилась и сюда. Здесь, в Омске, воцарился Колчак с отбросами старой царской, разлагающейся армии. Офицерство без просыпа пило и безобразничало. Это было поистине жуткое зрелище. Мне еще не было 18 лет, как меня забрали в армию, которую я ненавижу всей душой. Что может быть тупее и ограниченнее военного человека. В нем убивают свободное мышление и чувство, и всякую волю. Будь покорным животным — это идеал для военного. Тебе приказывают бежать — бежишь, стоять — стоишь, убивать — убиваешь. Какое великое достижение человечества. Меня всегда поражали военные, которые избирали это занятие своей профессией. Я вспоминаю, как прежде самые тупые гимназисты уходили из

пятого класса по неспособности учиться дальше и через самый короткий срок ходили по городу, бряцая шпорами и сверкая новой офицерской формой.

И вот я попал в этот ужасный водоворот. Причем, на призывном пункте, если узнавали, что ты окончил среднее учебное заведение, тебя направляли в специальную часть где, как я узнал, через два месяца все должны были быть выпущены в чине поручика. Только этого не хватало. Я должен был бы через два месяца кем-то командовать. Нет, надо бежать. Я не буду описывать все подробности, но я сам был свидетелем, как ни за что унтер-офицеры били солдат по физиономиям шомполами и сажали на гауптвахту. Это ужасная сторона прежней воспитанности. И мне скоро представился случай бежать из этой части. Нужен был писарь в казачий полк, а это низший чин, и я с радостью пошел туда. Там в мою обязанность входило составление полной описи всех лошадей полка. Кличка лошади, цвет и особенные приметы, как-то: грива с отгетом направо или налево, звезда во лбу, уши вилоклой или шлем, есть ли тавро, одним словом, я перезнакомился с лошадыми. Но тут я пробыл недолго, так как писарь понадобился в штабе, куда меня перевели.

В штабе я попал к отвратительному человеку, ротмистру Конабесву, у которого жена его работала машинисткой. И он, и она не бывали трезвыми, с утра приходили на службу пьяные и с сигарками на физиономиях. Он сразу учуял, что я образованнее его и не военный, а по душе штатский человек — значит, большевик, приставленный к нему. И через неделю за мной пришли от коменданта города и арестовали как злейшего врага. Как потом я узнал, это было сделано по его доносу. Он писал, что я большевик, и он требует расстрела. Меня переправили в городскую тюрьму, и я попал в камеру, где сидел в свое время Достоевский, на стене этой камеры была выцарапана его фамилия. Это было большое испытание в жизни. Небольшая камера, в которую меня втолкнули, темная, с крошечным узеньким окошечком под потолком, в которое не проникал дневной свет. На стене горела коптилка, чуть-чуть освещая камеру. У одной стены стояли нары дощатые два этажа.

На каждом этаже лежало впритык друг к другу по десять человек. Ни стола, ни стула в камере не было, да и негде было бы их поставить. Все лежали или сидели на своих местах абсолютно голые. Старшим в камере был татарин, у которого и голова, и лицо были покрыты шрамами. У него был большой опыт, поэтому он и был выбран старшим. Он по тюрьмам провел большую часть своей жизни и, как говорили, вырезал не одну

семью. Ему все безоговорочно подчинялись. Как позже я узнал, камера была для уголовников, все были воры и убийцы. Не успела за мной запереться дверь, как все соскочили со своих мест и сели полукругом, а в центре татарин. И он начал вести допрос. «Кого ты убил? — обратился он ко мне, — тут нечего скрывать, все свои». И когда я сказал, что никого не убивал, он резко отрезал: «Врешь». И он же для того, чтобы принять в свою семью, назначал наказание новичку. После чего он указывал тебе место. «Ну, раздевайся». — «Зачем?», — спросил я. «Сам поймешь, зачем». И действительно, мне стало ясно, когда я сел на указанное место. Мои брюки через минуту покрылись полчищами вшей, толстыми, громадными. Их здесь столько, что их не убивали — это бессмысленно, а только с голого тела стряхивали рукой. А свою одежду, свернув, надо было положить под голову, так как кроме голых досок ничего не было.

Так началась новая жизнь: ожидания, тоска, волнения. Почти каждое утро приходили в тюрьму от коменданта сербские солдаты, которые охраняли тюрьму, и если было нужно, они же и расстреливали. И это все знал татарин, каким-то особым даром ясновидения. Он всегда всех будил и говорил: столько-то пришло сербов, сегодня из нашей камеры никого не возьмут, или сегодня возьмут у нас двоих, одного расстреляют, одного отпустят. И в один из дней он поднял страшную панику. Говорил взволнованно: «Пришло много сербов, возьмут из тюрьмы до сорока человек, из нашей камеры троих-двоих на расстрел, одного отпустят». И все, как сумасшедшие, ловили по стенам мух и смотрели — самец или самка, если самка — расстреляют. И из этих троих попал и я. Нас построили в две шеренги, какую шеренгу поведут на расстрел, было неизвестно.

Это мучительное состояние продолжалось около часа. Через час вызывают меня и спрашивают: «Такой-то?» — «Такой-то». — «Забирай свои вещи и уходи, есть приказ тебя освободить, благодарю человека, который за тебя похлопотал». И я, как во сне, вышел за ворота и ослеп от дневного света, которого давно не видел. Стою, не могу открыть глаза, больно и катятся слезы. Так прошло с полчаса, пока глаза освоились со светом. Кто же оказался моим благодетелем? Скоро я наталкиваюсь на одного казака-офицера в чине капитана, который был на поэзоконцерте, где я выступал, и поэтому знает меня. Он остановил меня и сказал, что все знает и что вытащить меня, приговоренного к расстрелу, было очень трудно, и чтобы я не оставался в городе ни одной минуты и тотчас шел



бы на вокзал, и уехал куда угодно, чтобы тут меня никто не видел.

Так я и сделал, повернул и пошел на вокзал с пустыми руками и пустым карманом. Но мир не без добрых людей и не без доброго водительства. На вокзале меня останавливает человек в чине штабного полковника и говорит: «Я вас знаю. Вы такой-то. Куда вы идете?» Я увидел добрые, ласковые глаза и рассказал ему все со мной случившееся. Он предложил мне место и работу у себя в передвижной типографии. И так я попадаю в вагон на колесах и почти два года путешествую по железной дороге. Делаю клише, режу из линолеума заставки, виньетки и рисунки. Сюда же на работу к себе редактор берет поэта Бориса



СЕАНС ГИПНОЗА. 1920-е

Четвериков и писателя Всеволода Иванова, который работал наборщиком. С редактором, начальником нашей типографии, я снова встретился в Москве лет через восемнадцать. Он меня нашел и пригласил к себе в гости. Он работал корректором издательства «Грмес». Сам писал повести и рассказы для детей и был членом Союза писателей. Впоследствии выпустил целый ряд книг под именем Василия Яна. Я делал ему иллюстрации к книге, которая так, кажется, и не вышла, портреты Чингиз-хана и Батые.

Агентом по добыванию бумаги для передвижной типографии был у него молодой человек, очень ограниченный и недалекий, он ходил в женских дочерей Яна. Это был типичный

белогвардейский офицер. Когда близко подошел фронт, он, не задумываясь, пока меня не было, забрался в мое купе, переоделся в штатское, побросал оружие, патроны, погоны и форму прямо на пол, забрал мою штатскую зимнюю шубу, хорошую, новую шубу, и бежал из вагона в поле.

Когда я вернулся и обнаружил этот погром, то один из рабочих мне показал в окно на удаляющуюся вдалеке фигуру и сказал: «Это ваша шуба бежит». Так в тридцатичетырехградусный мороз я остался без шубы. Был в вагоне ужасный, рваный тулунчик, который надевал на себя тот, кто тонил печку, весь грязный, испачканный копотью и каменным углем. Его я должен был взять. Почистил

снегом, почти всю ночь проиграл и, разложив на полу, на спине, на груди и на руках яркими масляными красками нарисовал красивый орнамент, похожий на вышивку. Получилось красиво и оригинально. В нем я и проходил всю зиму, удивляя прохожих.

Меня везде принимали как знатного гостя и предлагали работу. Так начал я работать в Омском оперном театре постановщиком и исполнителем-декоратором, причем это последнее занятие — исполнителем — было очень трудным, так как у меня не было опыта и знаний, и владения клеевыми красками, которые при высыхании в десять раз теряют свою интенсивность и яркость. Это все я познавал на практике. Первый

задник, написанный мною во всю силу, а задник был сложный, с внутренним видом Кремля, наутро, когда я пришел в мастерскую, лежал, как громадная простыня, почти белый, совсем бесцветный. Пришлось его писать второй раз, проверяя на сушку каждый цвет. И так, с большими усилиями, но первая моя постановка прошла благополучно, это была опера «Борис Годунов». Наркомпрос заказывал мне портреты. Работы было много, но мечтал я только о скорейшем возвращении в Москву.

И, наконец, мне счастье улыбнулось. Я попал в поезд, который возвращался в Россию. Это был громадный состав из товарных вагонов, который шел из Иркутска. В нем возвращалось как-то учреждение из эвакуации. Они ехали уже два месяца, поэтому все было обжито и устроено по-семейному. В каждой теплушке помещалось по четыре больших или по шесть маленьких семейств. Комендант поезда, лицо, выбранное общим собранием, мне указал теплушку и

Философия расплывчата, теософы — текучи, ни у кого нет школы кроме йогов, но школа йогов однобока

место. Я был счастлив — еду домой — и проехал так полтора месяца до Самары, где и вышел. Здесь я нашел своего отца и брата, который за это время женился. Это было моим временным пристанищем, так как основная цель моего пути — это, конечно, Москва, куда я попал в конце двадцатого года.

Итак, 1918 и 1919 годы научили меня многому. Я никогда не забуду те страшные картины, свидетелем которых я был. Тысячи простых русских людей, насильно мобилизованных царским и временным правительством, погнанных в Сибирь, якобы на спасение, и брошенных там на произвол судьбы. Зима, тридцатиградусные морозы, голодные люди. Солдаты, мечтающие вернуться в родные места, заполняют вокзалы и железнодорожные пути. С сумасшедшим взглядом, почти отсутствующим, качаясь от голода, они сотнями ходят между вагонами, ница поезда, который вот-вот по их желанию должен пойти в Россию. И такой поезд они облепляли настолько, что, например, паровоза не было видно за людьми, все крыши, все двери и буфера вагонов. А утром — это было страшное зрелище. Поезд стоит также, но весь покрыт замерзшими людьми. И железнодорожники длинными шестами сбивают обледенелые трупы с вагонов и паровоза и складывают штабелями во дворе, как дрова. Если кому-то удавалось развести небольшой костер, то к костру быстро

подтаскивались замерзшие трупы и на них, как на бревнах, усаживались и грелись у огня. Редко у кого из покойников вы встретите такое блаженство, разлитое на лице, как у замерзшего человека, ему в последние минуты делается тепло, и он тихо засыпает.

Но и в такой обстановке находились мародеры, которые ходили с молоточками, переворачивали трупы и если находили обручальное кольцо, то молоточком отбивали палец и снимали кольцо. Как быстро человек приспосабливается к любой обстановке, и как быстро притупляются его чувства. Да, притупляются чувства у человека и только у человека, а у животного остается вся острота переживания. Так, не раз приходилось наблюдать, как подводы с лошадьми, на которых увозили с путей и вокзалов трупы, не выдерживали этого зрелища, лошади становились на дыбы, переворачивали телеги и, обезумевшие, бросались куда попало, сбивая все на своем пути, поэтому им завязывали глаза.

Это все ужасы, которые несет за собой всякая война. А ведь можно же жить мирно, без войны. Можно, но не в окружающих нас современных условиях. Все эти подписания мирных соглашений, о которых так много у нас кричат, не стоят и выеденного яйца. Сегодня подписали, а завтра же объявили войну. Это детские развлечения, которые так нравятся современному человеку. Взрослые люди поистине стали детьми и начали играть в куклы. Все эти конференции, слеты, симпозиумы, соревнования, выставки достижений материальной цивилизации — все это общепланетарная беззастенчивая ложь. Никто в это не верит, но продолжают играть в «папы-мамы», в друзей. Впали в детство. Лгут друг перед другом. Как мудро сказано в Евангелии от Иоанна: «Ваш отец диавол. Когда говорит он ложь, говорит свое» (гл. 8, 44 ст.).

А теперь я вновь хочу вернуться назад и описать одно происшествие из жизни в 18 году, имевшее для меня большое значение. В хвосте нашего эшелона передвижной типографии один вагон занимали матросы. Отряд колчаковских матросов в двадцать человек со своим офицером-белогвардейцем. Когда наш поезд был задержан партизанским отрядом красных, которых было всего восемь человек, и началась перестрелка, я решил выскочить из вагона и остановить одного из партизан, собирающегося

бросить в вагон третьего класса ручную гранату, чтобы взорвать его, так как они считали, раз классный вагон, значит едут офицеры. Выпрыгнув из вагона, я начал кричать: «Остановитесь, не делайте этого, здесь только рабочие и семьи рабочих!» Рабочие же во время начавшейся перестрелки все попрятались под лавки, под лавку геройски залез и писатель Всеволод Иванов.

И тут, стоя перед вагоном, я только увидел, как из последнего вагона по приказу белого офицера высыпали матросы и выстроились в два ряда. Офицер стоял позади их и командовал: «Пли, огонь!» Раздался оглушительный выстрел, и стоявший рядом со мною партизан упал на меня, пуля попала ему в сердце. Отряд белых матросов начал надвигаться на нас, и офицер крикнул мне: «Тебя, изменника, мы сейчас повесим!» Я стоял, прижавшись к вагону, и пули свистели мимо и скользили по железной стенке вагона. Матросы надвигались все ближе и ближе.

И вдруг в этот миг мне стало тепло, был большой мороз, а я стоял в одной рубашке. Стало тепло и особенно тихо и спокойно внутри. Исчезли из поля зрения и снежное поле, и матросы, и поезд. Так бывает только во сне; я увидел в одно мгновение свою жизнь и всех своих близких и родных. И было так хорошо.

Когда я открыл глаза, то увидел, как у партизан началось замешательство, повернул назад один, потом и другой, и вдруг произошло чудо. Один из красных партизан, немолодой, с большой бородой, неистово крикнул: «Товарищи, куда же вы, за мной, за мной!» — и решительно двинулся на матросов. Шаг — выстрел, шаг — выстрел. Офицера за матросами уже не было. Среди матросов произошло замешательство, и вдруг все двадцать человек повернулись и бросились бежать. Я видел, как один человек решительным действием может изменить исход дела и тем самым спасти всю группу своих товарищей. Как впоследствии я узнал, был убит начальник красного отряда партизан. Я с одним из партизан поднял его, чтобы перенести в вагон, и когда поднимали, то чуть согнули, и небольшой фонтанчик крови выбился из груди. Пуля пробила карман, в котором лежали письма из дома и фотографии семьи и детей. Вот так трагично оборвалась жизнь человека. Однако случайного ничего не бывает.

Так удалось спасти всю типографию, если бы не вышел я, то взлетел бы на воздух и весь состав рабочих и служащих, и типография. Я почувствовал большую ответственность за всю типографию, тем более что Ялченский, начальник нашей типографии, уезжая, эвакуируясь дальше на восток, поручил



СОЛДАТЫ, ОТКАЗАВШИЕСЯ ПОДДЕРЖАТЬ КОРНИЛОВА, ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ. 1917

мне сохранить все и доставить поезд в Иркутск. В это я не очень верил, да и не собирался ехать дальше на восток, поскольку меня тянуло домой в Москву. Я тотчас начал хлопотать, чтобы наш поезд вернули назад с этого глухого разъезда, в Новониколаевск, а там я пошел передавать всю типографию со всем составом работников новым хозяевам.

Новониколаевск тогда был похож на большую деревню. Широкие улицы и маленькие деревянные домишки. Я доволь-

В конце девятнадцатого года я попадаю в Самару, где сначала веду кружок в пролеткульте, а затем работаю и в декоративной мастерской военного округа. Здесь встречаю много друзей-москвичей и художников, и скульпторов, и поэтов, бежавших сюда из Москвы от голода. Начинается опять интересная жизнь, полная исканий. С одной стороны искание правды и смысла жизни, с другой стороны искание правды в искусстве. Читаю много

ряской. А в искусстве масса самых разнообразных течений, масса «измов». Пробежал и по ним, как по ступенькам большой лестницы. Был футуристом, и кубистом, и пуантилистом, импрессионистом, конструктивистом и, наконец, супрематистом. Каждое течение что-то давало и оставляло в душе след. Наконец полный отказ от краски. Только форма в дереве, мраморе. Много было сделано, но все время чувствовалось, что это только ветви одного большого дерева.

Серьезное увлечение каждым течением приоткрыло маленький уголок большого целого. Это все было нужно, как я теперь понимаю. Супрематизм заставил внимательно относиться к материалу, с которым ты имеешь дело. Оценить его, полюбить и понять его жизнь и требования. Но все это одна грань многогранной призмы. И неминуемо влечет к синтезу искусства и жизни. И чувствуешь, что они должны быть слиты в один грандиозный поток. Но как найти этот синтез? Где спрятан таинственный ключ жизни? Обращаюсь к поэзии и литературе. Стихи волнуют и ласкают слух своей музыкальной и ритмической стороной. Но это все не то.

Читаю Библию, она тоже чарует своей музыкой слова и громадной значительностью тем и мыслей. Но расшифровать, осознать все скрытое за этими словами пока душе не удается.

Был футуристом, и пуантилистом, импрессионистом, конструктивистом и, наконец, супрематистом

но легко нашел штаб красных. Там за столом сидел товарищ большого роста в бушлате и бескозырке. Я ему рассказал все как было и что доставил сюда типографию на полном ходу. И подал ему подробный список всех рабочих и служащих типографии. Он внимательно меня выслушал, посмотрел списки, вызвал кого-то из соседней комнаты и велел ему, согласно списка, выдать мне на всех продовольственные карточки, меня поблагодарил и пожал крепко руку. Я выскочил оттуда счастливый и бросился бежать к поезду, чтобы порадовать всех. Так обрели мы лицо и положение. И на следующий день пошли получать свой паек. Это была большая радость, так как за последнее время мы все крепко проголодались.

книг и по йоге, и мистиков — Сведенборга, и по философии — Ницше, Якова Бёме, Гегеля и, наконец, Анни Безант и Блаватскую. Йоги конкретнее всего, но сушит односторонность и неполнота. Философия расплывчата и уходит от конкретной жизни. Теософы еще менее конкретны и текучи. И ни у кого нет школы кроме йогов, но школа йогов однобока. Она многое дает и организует какую-то твою часть, но это не смысл жизни. А искусство барахтается в стороне и не связывается с жизнью. И невозможно их соединить, слить в одно русло. Иду в церковь и здесь наталкиваюсь на такой же разрыв и на полное невежество. Здесь стоячее болото, медленно, но верно зарастающее

Наконец, в 1921 году я вновь попадаю в Москву. Получаю комнату при школе живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице в доме № 31. Большая часть этих двух домов занята общежитием учащихся художественной школы. Одно время я работаю здесь же в качестве заместителя коменданта домов. Верхний этаж всех пяти подъездов был оборудован под мастерские, их занимали преподаватели Вхутемаса. Тут по ходу работы мне приходилось иметь всякие дела и с молодежью учащейся, и со старым поколением художников. Не раз встречался и беседовал с художником Архиповым, прославившимся своими прачками, с Аполлинарием Васнецовым, влюбленным в старую Русь, худым, бледнолицым и всегда чем-то озабочен-

четвертом классе были сплошные. Медленно по вагону плавал синий дым, едкий махорочный дым. Было душно, тепло, и все располагало ко сну. На второй полке уже лежал один человек, с головой укрывшись черным пальто. Я чувствовал по дыханию его, что он не спит, и какая-то взволнованная настороженность изпод этого пальто перетекала на меня. Я лег напротив, но тоже спать не мог. Не было покоя от этих напыляющихся на меня астральных волн тревоги.

Не прошло и часа, как поезд остановился на какой-то маленькой станции и замер надолго. Как всегда в каждом вагоне находятся любители на каждой остановке выскочить и узнать причину долгой стоянки. Такой же любопытствующий из нашего вагона скоро

с тобой. Слушай меня. Я ведь очень одинок. У меня нет близких, нет родных, нет друзей. А каждому человеку хочется излить свою душу, тогда легче жить. А излить ее некому. Люди очень мелки, жадны, завистливы и себялюбивы. Так я жить не могу. Ты знаешь, друг, кого они искали в поезде?» Я ответил ему, что догадался. «Так вот слушай, меня искали, только что в Сызрани на вокзале я ограбил кассу. Я ведь хожу на волоске. Это мне и нравится. Пусть я проживу мало, пусть меня завтра же возьмут. Но я прожил свою жизнь красиво. Не могу сидеть и корпеть в конторке. Я хочу быть орлом. Я никого за свою жизнь не обижал. Я презираю мелких воров и карманников, которые крадут у бедных труженников. Человек месяц работал и несет домой свои копейки, и можно ли это отнимать? Нет, я беру только государственные деньги, которые никому не принадлежат или, вернее, принадлежат народу, а не государству, я их бедному народу и возвращаю. Представь себе, как это красиво и какую надо иметь силу воли. Я вхожу в банк и говорю: сидите все спокойно, никакой паники, я никого не трону. Надо, чтобы в твоём голосе звучала сила и все были загипнотизированы. Я прохожу к кассе, вынимаю спокойно деньги и ухожу. Пусть несколько минут, но я чувствую себя королем. Как это красиво. А деньги эти я на себя не трачу ни копейки. Я помогаю всем бедным. Прохожу в деревню и вижу, кто плохо живет, кто в чем нуждается. Кому куплю корову, кому дрова, кому муку. Разве это не красиво, не благородно? Ради этого можно рисковать и жизнью. Пусть добрым словом вспомнят тебя люди. А вторая моя страсть — люблю читать. И больше всего люблю Льва Толстого и особенно его философские произведения. И всегда жалею его, что он не смог в жизни приложить свое учение. Мешали ему жена и семья. Вот почему я никогда не женюсь, хочу быть свободным».

Так за беседою начало светать, и на одной маленькой станции он открыл окно и позвал человека, продающего сапоги. «Дай померить», — сапоги оказались впору. «Сколько тебе за них?» — и, не торгуясь, вытащил из кармана длинную ленту керенок и передал мужику. «Ты что, сапожник, погоди минутку», — снял свои, которые были тоже крепкие и почти новые, просунул их в окно и сказал: «Ты их немного подновишь и тоже продашь». И на ближайшем маленьком разъезде простился со мной и побежал по лесу, в незнакомую ему глущую деревню.

Москва, 1974 г;

Нет, я беру только государственные деньги, которые никому не принадлежат

ным, расстроенным Машковым и многими другими, выставившимися на выставках «Мира искусства».

Вечерами я работал в качестве художника в Союзе поэтов, правление которого помещалось в кафе «Домино» на Тверской улице. На моей обязанности лежало оформление книг, выполнение обложек к выпускаемым Союзом поэтов книгам и брошюрам, плакатам и афишам к поэзоконцертам, проходившим здесь же, в кафе. За эту работу денежной оплаты я не получал, а имел каждый день в этом же кафе прекрасный обед из трех блюд. В то время это было дороже всяких денег. Здесь я близко сошелся со всеми писателями и поэтами, и старыми, и новыми, и молодыми. Вошел в эту семью и получил большой опыт, новое познание, своеобразную палитру человеческих душ и сердец. словно открылся мне новая грань многогранного многоугольника человеческого существа.

Все встречи с людьми, людьми разного типа, разного характера и разных убеждений очень обогащают нас. Надо только внимательно присматриваться к людям, учиться у них, а учиться можно у всех. Человек особенно меня интересовал: формы его рук, его походка. Все складки черт его лица, глаза, уши, рот — все говорит и говорит очень много. словно читаешь мудрую книгу жизни. А встреч с людьми разными было у меня много.

Вспоминая неожиданную встречу в поезде. Я ехал из Самары через Сызрань в Бугуруслан. Ехал в вагоне четвертого класса ночью. Вагон тускло был освещен сальной свечкой, моргающей от сотрясения поезда. Год был 1917-й. Забрался на второй этаж, а вторые полки в

вернулся и объявил, что из вагона не пускают, весь поезд оцеплен солдатами и по всем вагонам ходят и проверяют паспорта. Кого-то ищут и скоро будут у нас. Мой сосед быстро вытащил изпод головы большой мешок, поставил перед собой, а сам свернулся за мешком в маленький комочек, покрытый пальто. Наконец пришли и к нам с сильными железнодорожными фонарями. Смотрели документы и освещали лицо. Увидели меня. Посмотрели мои справки, направили на меня фонарь: «А еще какие документы у тебя есть? А ну-ка слезай». Я действительно одет был подозрительно: на голове кожаная шапка летчика и черное штатское пальто. Меня осмотрели внимательно. «Еще какие документы есть? Это все фальшивые документы, пойдешь с нами». Проводник сказал им, вступившись за меня: «Да ведь он едет с самой Самары с нами, и никуда не выходил». Тогда они еще раз осветили меня, просмотрели еще раз все документы, вернули мне все, и пошли дальше.

Я, взволнованный всем этим, остался стоять у окна, пока поезд не тронулся. Так как они долго со мной возились, то не заметили моего соседа и ушли. Поезд двинулся, закрипели вагоны, все улеглось, и я полез к себе наверх. Не успел лечь, как эта фигура, покрытая пальто, зашевелилась и подвинулась ко мне в упор. «Спасибо, браток, ты мне сохранил жизнь, ты отвлек их внимание. Они занялись тобой, забыли посмотреть всю полку и пошли дальше. Спасибо тебе, дорогой. Я ведь все слышал, затаив дыхание. Но я вижу, ты человек хороший, а в людях я никогда не ошибаюсь. И я хочу тебе все рассказать, хочу поделиться

Публикацию подготовила
Вера Ковалкина